ПИСЬМО МОИМ СЫНОВЬЯМ

Генрих БЁЛЛЬ

«Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения», — эти слова Генриха Бёлля особенно точными оказались в дни, когда в Западной Германии всякий по-своему отмечал 40-летие окончания второй мировой войны: кто как праздник, кто как тризну по «утраченным победам». Последних не так уж мало — недаром газета «Ди цайт» поместила 15 марта 1985 г. «Письмо моим сыновьям» Г. Бёлля [которое мы приводим в сокращенном виде] под рубрикой «8 мая: затруднительная годовщина». Письмо это, написанное 8—13 мая 1984 г., в духе и стиле раннего Бёлля, своим непримиримым антифашизмом и четкой оценкой исхода войны резко контрастирует с многими публикациями в западногерманской печати, пытающимися вытравить из памяти людской то, как это «было на самом деле».

Дорогой Рене, дорогой Винсент, если в том, что я здесь пишу, вам почудится или послышится малейший налет героики выживания или восстановления, — перечеркните это, высмейте, комментируйте зло и едко, но поверьте, мне чужд лейтмотив старшего поколения, которое во что бы то ни стало хочет объяснить молодежи, как тяжко было «нам» и как легко живется и жилось ей...

Нет-нет, вам не легче, чем было нам; не дайте внушить это себе. В последнюю войну еще можно было выжить, и я хочу попытаться описать вам это: описать, как мы пережили ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ. «Рассказывать» — это опасное занятие, в «рассказчике» всегда таится бахвал, хвастун, который-де, в сущности, был герой или по меньшей мере мученик.

«Одиссея» тоже полна бахвальства, хвастовства, а то, что я хочу вам описать, — маленькая Одиссея. «Рассказал» я о войне достаточно, вы можете это почитать, в том числе и то, что я сам пережил; конечно мне сегодня кажется изрядно выспренним, очень «литературным»; читайте это со снисходительностью, и если вы там — как и в этом письме — найдете, что к написанному примешалась жалоба, тогда это может быть жалоба только на германский рейх, на его руководителей и его обитателей, но никогда ни на одну из держав-победительниц, то есть и не на Советский Союз. Кстати, у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в «природе вещей», которая в данном случае зовется войной, и я всегда понимал: нас туда **не приглашали.** Так уж водится на войне, там стреляют; были там и «катюши», и тому подобное; случается, на фронте ешь и пьешь что попало, а когда от жажды чуть не сходишь с ума (**этим** опытом я хочу поделиться с вами, жажда хуже голода!), пьешь даже из луж, забывая всякие предостережения насчет бактерий, микробов и т. п. Я не стремился попасть в советский плен — вы можете судить об этом по тому, что с осени 1944-го я держался «западного направления», хотя меня охотно послали бы снова на «восточное». Для этого мне пришлось немножко помочь себе. Солдатам — а я был солдатом — следует жаловаться не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну.

...После войны, после такой войны, я ожидал наихудшего: десятилетий принудительного труда в Сибири или в другом месте; а все оказалось не так уж страшно, если вы учтете, какое разорение причинила война, а также учтете, что без немецкого вермахта, в котором я служил, ни один концлагерь и года не продержался бы.

Вы должны также знать, что смертность в немецких лагерях для советских военнопленных составляла 57,8 процента... В первую мировую войну смертность среди русских военнопленных в Германии составляла 5,4 процента и тоже была большей, чем среди военнопленных из других стран (3,5 процента). Смертность советских военнопленных во вторую мировую войну была в десять с лишним раз выше, чем в первую. Вы обратили внимание? Это было УНИЧТОЖЕНИЕ, главное занятие нацистов. УНИЧТОЖИТЬ Советский Союз им все же не удалось, все-таки кое-кто выжил и кое-какие дома для жилья уцелели. Также не удалось нацистам УНИЧТОЖИТЬ Германию, где тоже кое-кто выжил и кое-какое жилье уцелело.

Как выжить в условиях УНИЧТОЖЕНИЯ и ХАОСА, в среде, где каждый мог быть доносчиком, но, к счастью, не каждый им стал? Читайте отчеты, статистику, документы о Советском Союзе и последствиях войны, все, что я не могу здесь перечислить. Из более пяти * миллионов убитых поляков девять десятых — гражданское население, в Югославии соотношение между гражданским населением и солдатами — три к одному. Не пренебрегайте статистикой, пусть она порой и бывает неточной или «приблизительной» — кто в состоянии посчитать и перечислить всех, всех мертвых.

Если понять, что за ними стоит, цифры приобретают ошеломляющую **наглядность.** Еще **одну** цифру я хочу привести: из 55 миллионов убитых в Европе 40 процентов — граждане Советского Союза.

С чего мне начать, если я хочу не «рассказать», а только информировать о том, как мы **пережили** ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ? Лучше всего начать со смерти моей матери, умершей 3 ноября 1944-го в Арвайлере, в то время, когда я лежал в госпитале в Бад Нойенаре. В госпитале? Не беспокойтесь, я не был ни болен, ни ранен: незадолго до этого меня перевели из арвайлерского госпиталя в Дрезден, там выписали, отправили обратно в Арвайлер, а по истечении моего отпуска я, дабы стать пригодным для госпитализации, опять немножко помог себе — с помощью снадобий, полученных от одного и поныне здравствующего кёльнского врача. После похорон матери мы покинули, кажется, 7 или 8 ноября, гостиницу в Арвайлере: вероятно, смерть матери спасла нам жизнь: через несколько дней после нашего «переезда» гостиница была полностью разрушена прямым попаданием бомбы. «Переезд»? Нет, не хочу и пытаться описать его. Это был бы приключенческий роман, а приключенческих романов предостаточно...

Мы поселились в Мариенфельде, там, где похоронен ваш маленький брат Кристоф. Новое прибежище приветствовало нас в духе времени: на соседнюю деревню упали первые за всю войну бомбы. Не буду говорить о жилищных условиях

и снабжении. Все это достаточно часто описывалось...

У нас было одно-единственное желание — желание, которое доводило до белого каления еще Старого Фрица: мы хотели жить, пусть не вечно, но хотя бы еще некоторое время, мы хотели пожить без нацистской чумы.

Сколько романов потребовалось бы, чтобы описать время с 3 ноября 1944-го до апреля 1945-го? Примите во внимание, что рейхсминистра внутренних дел звали Гиммлер и что Гиммлер после 20 июля стал главнокомандующим запасной армии, **моим, нашим** главнокомандующим. Внутриполитический террор между 20 июля и окончанием войны еще не описан, он должен стать темой исследования Института современной истории.

У нас было лишь легкомысленное желание — пережить этот террор, и еще было чувство голода; надо было кормить девять, временами десять, одиннадцать человек. Расспросите Аннемарию, вашу мать, при случае порасспрашивайте ее как следует: она вязала перчатки, которые вызвали бы восхищение в любом «салоне мод», и получала за это полведра подгнившей картошки. Зима была холодной, как все военные зимы. Почему **все** военные зимы в нашей памяти **холодные?** Не знаю, какими были на самом деле метеорологические сводки. Что еще нам оставалось, как не попрошайничать и красть? Крали только дрова — в соседнем лесочке женщины рубили деревья, стоя по колено в снегу, по строгим указаниям вашего дедушки, он потом профессионально распиливал их на кухонном столе в заселенной девятью человеками пристройке, предварительно наточив — столь же профессионально — пилу. Вы когда-нибудь слышали звук, с каким зуб за зубом натачивается напильником пила? Дерево из лесочка сырое, бумаги мало... Наша пристройка когда-то служила «пасторским зальцем», забраться туда можно было только со двора по приставной лестнице, в кладовке хранились шесты и колья, служившие для транспарантов во время праздника тела Христова и других процессий. Дерево сухое, размер шеста идеальный. Мы называли их «пастырями» — в память о том, что на одном из транспарантов, которые несли на процессиях праздника тела Христова, было начертано: «Хайль нашему пастырю»... Но и сухими пастырскими дровами, и клочками бумаги не растопить печь: нужны спички или зажигалка, а мы не имели ни того, ни другого. И потому ваш дедушка темными зимними утрами стоял с шести часов перед дверями дома и ждал, пока удастся запалить скрученную бумажку от чьей-нибудь зажигалки...

Ваш дядя Алоис имел понятную, но опасную склонность отлучаться без разрешения из своей части, что могло бы быть истолковано просто как дезертирство. Официально он «служил», то есть ничего не делал, в Кёльн-Мюльгейме в недоброй памяти (также и для меня) Хакетойерской казарме. Он где-то раздобыл велосипед и прикатывал, мокрый от пота и без сил, через Мух в Мариенфельд. В результате к нам несколько раз наведывались полевые жандармы (именуемые «цепными псами»). Полевые жандармы — это было смертельно опасно не только для Алоиса, которого могли пристрелить за ближайшим углом или повесить на ближайшем дереве, я тоже имел основания бояться визита этих господ, потому что не всегда поспевал с подделкой моих бумаг...

Страх и голод, голод и страх перед немцами. Может быть, теперь вы, Винсент и Рене, лучше поймете то, что мы часто пытались вам объяснить: еще и сегодня каждая из моих покупок — это покупка, продиктованная страхом; именно поэтому я то и дело покупаю слишком много хлеба, слишком много молока, яиц и масла, а сигареты по возможности блоками; может быть, вы лучше поймете, почему я не перестаю удивляться, что остаток своей жизни не провел, сидя у печки, с книжкой и сигаретами; ведь я все-таки женат на обеспеченной учительнице реального училища, чьего жалованья, пусть и в обрез, хватило бы для всех нас. Сидеть у печки и читать, хотя бы несколько часов не испытывать страха перед цепными псами, господином рейхсминистром внутренних дел Гиммлером и господином главнокомандующим Гиммлером с его законами и эмиссарами; вы, наверное, лучше поймете, почему даже едва уловимый дух фашизма повергает меня в панику; почему я держу свою машину всегда полностью заправленной, в кармане ношу деньги по меньшей мере на неделю жизни и поселился неподалеку от голландской и бельгийской границы. Сумасшедший, сумасшедший, знаю.

Может быть, вы поймете также, почему смелым человека делает страх, положение, в котором у него нет иного выбора, кроме как погибнуть или быть смелым, — именно страх придал мне храбрости жить по поддельным бумагам, которые я отважно менял в какой-нибудь инстанции германского вермахта на подлинные, а потом снова их подделывал. Не воспринимайте все это, Винсент и Рене, как совет или указание — это только информация о моем поведении, которое я тогда считал «исторически» правильным применительно к близкому ОКОНЧАНИЮ ВОЙНЫ, хотя историки смотрят на это совсем иначе. Если что-нибудь потом произойдет, это произойдет для вас совсем по-другому. Советы тут мало помогут.

Первую подделку я совершил ранней осенью 1944 года, когда уговорил девушку, заполнявшую мне в одном венгерском госпитале выписку, оставить незаполненным место, где после «в» указывался пункт назначения. Тем самым моя авторучка, которой я в туалете поезда вписал после «в» самый западный из еще не завоеванных городов — «Метц», по всей вероятности, спасла мне жизнь, ибо по правилам я должен был бы направиться на какой-то «фронтовой сборный пункт» в Дебрецен, а о том, что творилось осенью 1944 года на балканском военном плацдарме, вы можете прочитать в любом историческом очерке...

ОДИН эпизод из этого прошлого я все же попытаюсь вам описать: когда я — должно быть, в октябре или сентябре 44-го года — в Ремангене, пересаживаясь из поезда, прибывшего из Мюнхена или Вены, спускался по лестнице подземного перехода к поезду на Арвайлер, то по противоположной лестнице спускалась Аннемария, ваша мать, и мы встретились внизу, в туннеле!..

В Мариенфельд я ехал еще с подлинным документом — выпиской нойенарского госпиталя. Когда приблизился срок явки, я запаниковал, снова немножко помог себе, явился в Зигбург с повышенной температурой, и мне продлили срок; но затем наступила и поддельная дата, гражданский врач в Мухе, к которому я тоже явился с повышенной температурой, продлил подделанную дату, и она стала теперь почти «официальной». Я подделал «официально» продленную дату, опять ее просрочил, и клочок бумаги мало-помалу так истрепался, столько там было подпечаток, что он никуда не годился. Стоит ли говорить, что мы не просто ждали прихода американцев, мы заклинали, проклинали? А они все не шли и не шли...

Я имел право на «отпуск для долечивания». Но ввиду моего совершенно растерзанного «документа» я счел наилучшим припасть к проклятой груди подразделения, которое именовалось «запасной воинской частью» и пребывало в какой-то дыре южнее Мангейма. Я поехал туда. Да. Поехал. Все вокзалы походили на огромные караван-сараи, кишели измотанными, раздраженными, грязными людьми с их жалким багажом: гражданские, «нормальные» пассажиры, беженцы, солдаты, пострадавшие от бомбежек, военнопленные, полицейские разных категорий.

Эта запасная воинская часть располагалась в какой-то баденской табачной деревне, название которой я забыл. В моей роте (обычно состав роты — сто с лишним солдат) было 800 человек — и вот они стоят, ворча и ругаясь, на поверке: с ампутированной рукой, ампутированной ногой, дважды ампутированные, трижды ампутированные (без обеих ног и одной руки), на костылях, с импровизированными протезами, ожидая назначения пенсий; увенчанные наградами стоят в очереди за порцией сушеных овощей, на дворе январь или февраль, ледяной холод, а шинель получают лишь значащиеся в списке KV (годные к строевой службе) или добровольно в него записавшиеся. Спят в сараях для табака, из которых табак предусмотрительно вывезен или конфискован; ночью протезы висят на крюках или гвоздях; все затхло, жалкий эрзац-кофе, черствый хлеб с капелькой повидла. Как бы то ни было, я избавился от своей раздрызганной, подозрительной бумажки, снова стал легальным; я мерз, голодал. Крики на поверке, проклятия, ругань — о, благородное отечество, как ты обращаешься со своими героями, своими искалеченными героями... Я сразу же записался в KV, получил шинель и — что столь же важно — подлинную бумагу. Эта подлинная бумага была «свидетельством об отпуске для долечивания»...

Мне не удалось разыскать приказ Гиммлера, изданный в эти последние недели войны; приказ гласил, что каждый солдат может застрелить любого солдата, которого он встретит там, где не слышно «боевой тревоги» или «шума битвы». Таким образом, каждый немец стал для каждого немца потенциальным военно-полевым судом, даже когда тот, кто встретил другого вдали от «шума битвы», сам находится вдали от нее. Соответственно и число казней достигло десятков тысяч. Теперь мы знаем, что Гиммлер издал этот приказ незадолго до того, как сам он попытался спасти свою жизнь с помощью графа Бернадотте, посредством сепаратного мира, о котором Гитлер, разумеется, ничего не ведал. Гиммлеровской честью ведь была верность! Девиз эсэсовцев! Главнокомандующий пытался спастись, в то время как позади него, перед ним, вокруг него по его приказу вешали или расстреливали десятки тысяч.

Германия между 20 июля 1944 года и окончанием войны — это был **тотальный** террор господина министра внутренних дел Гиммлера. А по радио — вопли Геббельса. Знаете, американская армия в Европе казнила **одного** дезертира — одного, вдова которого многие годы, если не десятилетия, вела судебную тяжбу с Пентагоном. Число казненных немецких служащих вермахта точно неизвестно; наверняка их было более тридцати тысяч. Пыталась ли хоть одна немецкая вдова, невеста, сестра, мать подать в суд на германский рейх, или на его наследников, или на одного из выживших фельдмаршалов, в сфере подчинения которого были совершены расстрел или повешение? Разумеется, я не знаю, сколько казненных статистики протащили по графе «павшие» и, возможно, даже увековечили их имена на военных памятниках...

Был я и в Майнце в феврале 1945 года. Возможно, опять в поисках подлинных бумаг, но — и вот этого я никак в толк не возьму — из Майнца я опять поехал прямиком обратно. В городе я вдруг увидел вывеску «Гарнизонная комендатура», зашел туда, не спрашивайте меня, зачем, я сам этого не знаю, может быть, я все же был уже сумасшедшим, — итак, я зашел туда и попросил — имея в кармане поддельную увольнительную — доложить обо мне офицеру трибунала.

Был ли я настроен на самоубийство? Нет, я все еще был исполнен желания, которое Старый Фриц считал столь легкомысленным: я хотел жить. Офицер, майор, принял меня, и я изложил ему небольшой роман: по дороге в свою часть я узнал о смерти матери (она умерла пять или шесть месяцев тому назад), и мне необходимо на похороны, кроме того, я узнал, что наша квартира в Кёльне разбомблена (ее разбомбили полтора года назад); таким образом, мне необходимо попасть как на похороны, так и в Кёльн, чтобы спасти мою библиотеку и мои бумаги, которые в связи с предстоящей защитой диссертации имеют для меня жизненно важное значение (в моей солдатской книжке в графе «профессия» значилось — студент, и офицер, конечно, не мог знать, подозревать или даже проверить, что посредине первого семестра я был призван в армию). И вот этот удивительный человек, майор, а возможно, подполковник, который выглядел ужасно строгим и очень прусским, **поверил** мне или — эта мысль мне пришла в голову позднее — сделал вид, что поверил, потому что знал, что война проиграна, и хотел спасти любую жизнь. Он предоставил мне четырнадцать дней отпуска, и я опять имел подлинный документ и отпуск...

Четырнадцать дней: это было великодушно; это была вечность — когда-нибудь должны же прийти американцы... 2 марта истек срок моей последней законной увольнительной справки, и я просто не знаю, подделал я ее до того, как ехать в Зигбург, или после? По всей видимости — до, ибо 2 марта я слишком легко попался бы в лапы бесчинствующих патрулей, которые без разбора хватали солдат и подвозили в ближайшие воюющие части, то есть к пресловутому «шуму битвы». На сей раз подделка состояла в том, что на старой пишущей машинке отца я после двойки впечатал пятерку; пятерка легла криво, шрифт тоже был другой; с такой подделкой, попадись она в руки настоящего криминалиста, я недалеко ушел бы, потом — не знаю, не решаюсь и думать об этом, — потом меня застрелил бы какой-нибудь немецкий законченный идиот...

Ну и 25 марта американцев все еще не было, хотя они взяли Кёльн и 7 марта через Рейн продвинулись в Ремаген...

Помню — точно не могу сказать, когда это было, — и разбомбленный Бонн, где мы блуждали с Аннемарией, вероятно, в поисках госпиталя, чтобы суметь там опять немножко помочь себе. На сей раз тщетно. Однажды я побывал с сестрой в Энгельскирхене. Низколетящие самолеты, штаб-квартира господина генерал-фельдмаршала Моделя, одного из наводивших ужас убийц, который любезно застрелился в апреле в небольшом лесу между Дуйсбургом и Дюссельдорфом в возрасте 54 лет, он был на два года моложе своего верховного военачальника, на девять лет старше Гиммлера (да-да, Гиммлеру в 1945 году было 45 лет, подсчитайте при случае, сколько убийств приходится на каждую минуту его жизни!). На улицах орды: солдаты, беженцы, эвакуированные, уезжающие и возвращающиеся, — тому, кто хотел бы нынче снять это для кино, пришлось бы нанять сотни тысяч статистов: отступающие войска, наступающие войска — кто вообще знал, где фронт, где тыл?

Из иностранных радиопередач (слушать которые было опасно для жизни!) мы, конечно, знали, что американцы по автостраде давно продвинулись из Ремагена до Геннефа, они стояли на реке Зиг, всего в двенадцати километрах от нас. Ну, у них были другие стратегические планы, они продвинулись на восток до Касселя, создали вместе с британской армией, двигавшейся от Арнхайма, «рурский котел», куда они потом загнали большую часть немецкого вермахта, но вот до Мариенфельда они еще не дошли! А 25 марта приближалось, и подделывать больше нечего было, а без документа вдали от «шума битвы» я скоренько закачался бы на виселице, как вы можете это увидеть на иллюстрациях к «Симплициссимусу»...

Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших «врагов» как освободителей. Один из выживших генерал-фельдмаршалов потом называл это не «поражением», а «утраченными победами»...

Наступило и 25 марта, а американцы все еще не перешли Зиг и не освободили нас...

Выбора не было: обратно в германский вермахт. Вопрос тогда стоял так: где больше шансов выжить — в армии или вне ее? После глубокого раздумья мы решили: в армии. Вне армии без бумаг — это была бы игра, опаснее русской рулетки. Но вернуться в армию — это означало расставание, снова разлуку: разлука в войну, тем более разлука в **нацистскую** войну, всегда может быть окончательной, и мало пользы от мысли, что «теперь это действительно не может долго продлиться». Ведь и после Сталинграда это все продолжалось еще больше двух лет, и от немцев можно было ожидать, что и знаменитое «пять минут после двенадцати» они растянут до рассвета, будь у них хоть малейшая возможность.

Мы растягивали расставание. Аннемария пошла со мной в ближайшую часть вермахта. Это оказался штаб: сплошь штаны с красными лампасами, нервничающий штаб, которому было не до какого-то приблудного обер-ефрейтора, к тому же у них не было гербовой бумаги, чтобы заменить мою одиозную бумажку на легальную. Меня направили в деревню Бирк, расположенную на трассе Зигбург — Мух... На перекрестке, внизу в долине, где толпы штатских и солдат текли, иногда сливаясь, друг мимо друга, мы и расстались. Вся Германия была в движении, а я имел в кармане ничего не стоящую, подозрительную бумажку. Да, Разлука. Я не описываю ее. Как мне описать четыре десятка, а то и сотню разлук?..

В Бирке я доложился в канцелярии тамошней части, предъявил свою бумагу; прежде чем обер-ефрейтор смог ее внимательно изучить, его позвали в соседнюю комнату, а я забрал свой клочок, настоящий corpus delicti (улика), и когда он, вернувшись, спросил меня о нем, я сказал: «Так ты же взял его с собой». Он удивился, смешался, но не настаивал; я был внесен в список роты и снова стал легальным.

В Бирке я встретил дочь одного кёльнского лавочника, у которого мы часто — годами в долг — покупали продукты. Ее отец дня два назад бежал от призыва в фолькштурм. Мы разговорились, и господин Фог — так его звали — сказал, что он собирается бежать дальше, навстречу американцам и спросил, не сможет ли он на день-два спрятаться в Мариенфельде. Я обещал, и он попросил меня достать там для него, так сказать, квартиру; в качестве аванса он дал мне 25 фунтов сахара в прочном мешке.

25 фунтов сахара в конце марта 1945-го! Как доставить его в Мариенфельд, поздно вечером? Ну, я ведь был сумасшедшим, молодая девушка одолжила мне свой велосипед, я закрепил мешок с сахаром на багажнике и пустился в дорогу. Это было безумием, и, может быть, эта самовольная отлучка для доставки сахара была моим единственным «подвигом»: сахар для Мариенфельда! Я ехал проселочными дорогами, объезжая опасные перекрестки, где подкарауливали полевые жандармы и патрули, и втаскивая на относы велосипед и сахар, и я действительно добрался, обливаясь потом, с сахаром в Мариенфельд — вот это была встреча! Неожиданная и все же печальная — снова встала проблема: остаться или поехать обратно. В конце концов победило мое «чувство чести»: я обещал девушке вернуть велосипед, а в те времена велосипед был драгоценнее целой автоколонны.

Теперь начинается последняя фаза, которую я не хочу описывать в деталях, так как об этом можно прочитать в любой книге о войне. В Нидерауеле мы стояли напротив американцев, разделенные только рекой Зиг, и могли видеть собственными глазами — **белый, белый** хлеб, он светился, как луна. Никто не стрелял, стрелять было, так сказать, запрещено, потому что, если бы раздался один немецкий выстрел, в ответ обрушился бы целый шквал американских снарядов. Разложение, хаос, скудное питание — мы воровали, доили коров, старались ночевать в хлевах около теплого скота... Вы спросите, почему я не бежал сразу к **белому,** такому белому хлебу? Ответ прост: я хотел не просто выжить, я хотел выжить по возможности без плена — легкомысленное желание. Мы с Алоисом раздумывали, не спрятаться ли нам на некоторое время в маленьком чулане, среди оставшихся «пастырей», и переждать «развитие событий»... Я выжидал. В загоне открыто поговаривали о перебеге; некоторые даже пытались это делать — их семьи жили в уже оккупированной американцами области, — ползком и карабкаясь, перебирались через разрушенный мост, и были обстреляны, так как их приняли за разведгруппу. Нет, я выжидал, и опять велосипед ввел меня в искушение.

Нам поручили сопроводить в Нидерауеу наших сменщиков — роту самокатного подразделения кёльнской полиции... Мне удалось уговорить одного полицейского одолжить велосипед. Должно быть, это был святой, ибо, как я уже говорил, велосипед был драгоценнее целой автоколонны, и кто уж в начале апреля 1945 года, в апогее немецкого хаоса, мог кому-то доверять? Он дал мне велосипед (не знаю его фамилии, не то я и ему поставил бы памятник), и ночью я поехал в Мариенфельд, повидал Аннемарию, привез несколько сигар отцу — и снова дискуссии вокруг проблемы: остаться или не остаться, забраться наверх в кладовку к «пастырям» или вернуться в Альнер, что примерно было равнозначно возвращению на фронт. В пристройку тем временем подселили еще одного квартиранта; человек разумный, он советовал мне чулан, но я видел перед собой славное, честное лицо полицейского чиновника, которому обещал вернуть велосипед «из рук в руки», и вот я темной ночью отправился окольными дорогами обратно в Альнер. Позднее я слышал, не знаю где, что вся рота полицейских вместе с велосипедами была уничтожена.

Мы же — часть, в которой я состоял, — потащились дальше, совершенно расхристанные, мы плелись вперед, опять назад. Помню, однажды мы шли по краю деревни и увидели там развевающиеся белые флаги. Каким-то образом — не знаю, каким — все наше воинство распалось, и я зашагал по направлению к дому, пока какой-то лейтенант посреди шоссе не приставил мне пистолет к груди и не заставил присоединиться к его «войсковой части», носившей нелепое название «Боевая комендатура Брюхермюле». Я счел разумным не сопротивляться этому маньяку, и таким образом после нескольких неприятных дней попал наконец около Брюхермюле в американский плен. Наконец? Это было для меня неожиданностью: ведь мы американцев ждали, заклинали, проклинали, это же освобождение — НАКОНЕЦ МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ НЕМЦЕВ, и тем не менее вот что оказалось неожиданным: мне было трудно поднять руки вверх, трудно, но я это, конечно, сделал.

Остальное не так важно... Повторяю, я ожидал наихудшего, а оказалось не так плохо, лишь «наполовину плохо», и самыми опасными были все еще немцы, чинившие самосуды, в результате которых не один человек, не один «пораженец» исчез в выгребных ямах — в апреле 1945 года, когда Советская Армия уже побраталась на Эльбе с американцами...

Вы спросите, что же я делал эти полгода. Не помню, знаю только: не многое. В кухне и без того было слишком много людей, иной раз, если мои бумаги были действительно в порядке, я отправлялся мешочничать, ждал американцев, читал, читал даже дневники Кьеркегора. Во многих местах моего письма вы обнаружите наш семейный цинизм и легкомыслие, может быть, посмеетесь. Смейтесь на здоровье: мы выжили и, конечно, не всегда пребывали в унынии...

Слишком многое взбаламучивается, слишком многое поднимается в душе, и надо кончать, иначе получится все-таки полромана, я начну «рассказывать», то есть вступлю на скользкую дорогу, а ведь нельзя покидать «твердой почвы» «действительно пережитого»...

Может быть, вы теперь лучше поймете, почему нас больше всего раздражали типы наподобие Фильбингера и Кизингера, которые, улыбаясь в своем буржуазном самодовольстве, гладко, беспрепятственно прошли через все перипетии времени, и знайте, что знаменитое аденауэровское освобождение военнопленных касалось главным образом офицеров высоких рангов, для которых вообще силу сохранил не девиз «поражение», не «освобождение», а «утраченные победы», и которые, поскольку они живут дольше, чем какой-нибудь больной или израненный солдат, значительно обременяют пенсионные кассы и хорошо пригодились при восстановлении германской армии, именуемой бундесвером. Лучше вы поймете, может быть, и то, что наши многочисленные поездки всегда носят характер бегства, бегства от людей типа Фильбингера, который уже не помнит, что участвовал в казни приговоренного им к смерти! (Подумайте только: он не помнит!) Сколько немцев не помнят, сплошь те, кому я мог попасться в руки, — не все они судьи, зато потенциальные палачи.

А уж «немецкие матери», эта высокочтимая категория немецкой женственности, — сколько из них не только без сопротивления, бывало, и без особой нужды, а то даже и с воодушевлением позволили своим четырнадцати — семнадцатилетним сыновьям ринуться навстречу смерти, принесли их «в жертву фюреру»! Был такой Фердинанд Шёрнер, один из любимцев Гитлера, — в марте 1945 года он еще присвоил ему звание фельдмаршала, — его военно-полевые суды были столь же печально знаменитыми, как суды господина Моделя; он носил почетную кличку «кровавая собака», его «дисциплинарные меры» нагоняли ужас на солдат. Он умер не в 1945 году, как его любимый фюрер, он умер в 1973 году в Мюнхене; я думаю, он тоже из числа освобожденных Аденауэром немецких военнопленных.

Лет шестнадцать тому назад, дорогой Винсент, дорогой Рене, один из сыновей Рудольфа Гесса написал мне, не могу ли я поставить свое имя в обширный список тех, кто ходатайствует за досрочное освобождение из тюрьмы Гесса. Я не мог, не смог этого сделать, и даже теперь, когда Гессу 90 лет, не могу. Еще в 1946 году в Нюрнберге эта диковинная «птица мира» твердила, что Гитлер величайший сын, которого породила тысячелетняя история Германии. У меня в ушах все еще звучит его заклинающий, фанатический расистский голос, который я, шестнадцатилетний, слышал по радио, я не могу забыть его лица, которое видел в кинохронике: сверлящие глаза, требующие жертв и жертвы свои получающие. Нет, протестовать против его досрочного освобождения я не стану, ходатайствовать за него я не могу...

Несколько дней тому назад, когда я заканчивал это письмо, в возрасте 84 лет умер генерал СС Карл Вольф, авантюрнейший нацист, еще в 1937 году получивший генеральский чин в СС, начальник личного гиммлеровского штаба, который все-таки в конце февраля 1945 года пришел к выводу, что война проиграна (можете смеяться: в конце февраля 1945 года он пришел к этому выводу!). После того как через посредников он провел переговоры с Аленом Даллесом, немецкий вермахт капитулировал в Италии; все-таки, все-таки: потом Вольфа приговорили к четырем годам трудового лагеря, из которых он отбыл **одну** неделю. Потом, обвиненный в причастности к гибели 300 000 евреев, он отрицал, что знал о существовании лагерей уничтожения (это шеф-то личного штаба Гиммлера!). Он получил 15 лет тюрьмы, после семи лет был освобожден. И после этого прожил еще 13 лет на свободе! Это не шутка, дорогой Рене, дорогой Винсент, так было **на самом деле.** Это немецкая история.

Вступление и перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

Рисунки **А. ОСТРОМЕНЦКОГО**

---

* Писатель ошибается. Во вторую мировую войну погибло 6 миллионов поляков. — Прим. редакции.